

УДК 93/94 Шемјакин А. Л.  
DOI <https://doi.org/10.31212/zradova.17.rusijaisrbija.les.67-73>

*Мария Войттовна ЛЕСКИНЕН, д.и.н.*  
Институт славяноведения РАН  
marles70@mail.ru

*Др Марија Војтовна ЛЕСКИНЕН*  
Институт за словенске студије Руске академије наука

### **Андрей Андреј**

Когда поэты или барды пишут о своей будущей смерти, это считается предчувствием, а если обстоятельства ухода из жизни совпадают с напророченными в деталях, говорят, что автор предсказал, предвидел свою судьбу. С такими объяснениями можно соглашаться или не соглашаться, но ведь всякий, а рефлексирующий человек тем более, знает, что его не станет. А те, кто живет интенсивно и внутренне наполнено, ставя себе высокую планку, конечно, понимают, что вовсе не в состоянии отдохновения застигнет их смерть. И Андрей это знал. И думал об этом. И нередко говорил. Когда приходилось бывать на панихидах, провожая в последний путь наставников, учителей, старших коллег и соратников, друзей. Андрей тяжело, болезненно и долго переживал эти утраты. Он не только навещал могилы и помнил печальные даты, но много сил и времени отдавал для того, чтобы неоконченные труды коллег были завершены и изданы. Считал своим долгом. Всегда готов был отложить собственные статьи, изменить планы, чтобы эта сложная работа была сделана как можно быстрее, однако стремился сохранить авторские замыслы, как он их понимал и представлял.

В связи с этим и заходили разговоры о собственных поминках. Иногда, когда он начинал хвалить меня, я останавливала: „Так складно и хорошо говоришь, не забудь сказать это на моих поминках, чтобы все знали“. И он грустно откликнулся, что не ему на мои, а мне – на его доведется идти.

Это ощущение приближающегося, неотсроченного ухода, как мне кажется, особенно в последние годы, придавало, несмотря на нездоровье и огромную нагрузку на работе, напряженную интен-

сивность его труду. Он не только много писал и много думал о своих (незавершенных в итоге) проектах: монографии „Балканский детектив“ и третьем томе „Русских о Сербии и сербах“, но постоянно находился в размышлениях о нескольких перспективных, но отдаленных от основного, сербско-балканского, направления своих исследований, „сюжетах“. Казалось иногда, что они отвлекают его от главного. А теперь думается, что, напротив, именно они и придавали новую оптику тому, что он хорошо знал и что уже было продумано и выверено десятилетиями – только необходимо было записать.

Андрей, несомненно, был очень одаренным человеком, однако все, чего он достиг, не далось ему легко, а досталось трудом, терпением, волевыми усилиями. Он считал себя, и, полагаю, что вполне справедливо, „self-made man“. Он был Тружеником с большой буквы, человеком долга и совести – что во все времена не облегчает жизнь, а в наше время и в нынешнем состоянии науки – увы, становится зачастую препятствием. Обладая прекрасной, поражавшей многих, кто знал его, эрудицией и памятью (по настроению мог цитировать страницами „Мертвые души“, „Двенадцать стульев“ и „Золотого теленка“, повести Довлатова, и, конечно, Толстого, не говоря уже о стихах), он никогда не „страдал“ начетничеством – ни в жизни, ни в научной работе. Андрей умел восхищаться людьми, их талантами, он абсолютно лишен был зависти или ревности к чужим успехам. Именно это и приводило к тому, что, увлекаясь идеями или творчеством кого-либо, он склонен был создавать кумиров из таких (в первую очередь ученых) авторитетов. С присущей ему увлеченностью он превозносил их безгранично, не позволяя критиковать их или высказывать хотя бы тень сомнения по адресу их идей. И эта его особенность в последние годы приводила к горьким разочарованиям в некоторых (к счастью, немногих) из них.

При этом он не принимал сразу, на веру, ничего из тех новых для него научных идей, концепций и направлений, которые он охотно, увлеченно и даже радостно осваивал тогда, когда многие из его ровесников и коллег освоились в статусе „больших и опытных ученых“ и не желали ни менять привычной исследовательской колеи, ни вникать в новые и трудные методы зарубежных, в частности, гуманитарных исследований. Потому Андрей высоко ценил тех, кого любопытство и желание переосмыслить известное и пересмотреть очевидное знание, отлитое в бронзу и кажущееся вечным и неизменным, вело к новым областям, сравнительным ракурсам исследо-

вания, методике анализа. Это восхищало его, например, в Ритте Петровне Гришиной, которую он уважал и высоко ценил.

В 2015 году Андрей, много лет сопротивлявшийся отдыху в отпуске (обычно он, как и многие из нас, интенсивно работал именно в это время), неожиданно легко согласился поехать с друзьями на Корфу. Но не отдых у моря привлекал его, а столетний юбилей „Албанской Голгофы“, которую он именовал исключительно „Сербской“. Он очень волновался накануне поездки в Сербский мемориальный дом. Конечно, пел надтреснувшим уже голосом одну из самых любимых песен – „Тамо, далеко...“ и очень переживал, что выходит она у него не так, как раньше. В музее он рассказывал о страданиях – страстях – сербов на Корфу, об их трагической гибели.

Он часто говорил о чем-то близком и дорогом ему: „Это – мое“. И это тоже было „его“. Сербия была для него вторым Домом, он крестился в Сербии, там жили его самые близкие друзья и учителя. Он всегда был в каком-то особенно приподнятом настроении после возвращения из командировок. Но при этом, и это, конечно, известно коллегам, Андрею удалось избежать своеобразного „этнографического синдрома“, который присущ многим ученым-страноведам разных специальностей: идеализации этноса, государства, истории и менталитета изучаемого народа. Хотя он и признавался, что такой период в его биографии был. Однако это стремление разобраться „объективно“, критично посмотреть на то, что хорошо знаешь и любишь, было бесконечно далеко от практических или даже меркантильных целей вызвать к себе интерес, эпатировать научную общественность и тем более от какого-либо чувства „превосходства“ разной природы. Это чувство или установку Андрей категорически отвергал – и в том числе, когда писал об особенностях европейских и российских нарративов о Сербии и сербах. Высокомерие или самообожание были глубоко чужды ему и в обыденной жизни. Он часто с гордостью (точнее, с детской непосредственностью, – так не вязавшаяся с его внешним обликом, эта трогательная черта не покидала его никогда) говорил, что после обретения докторской степени он ничуть не изменился в отношениях с людьми, в самоощущении и самовыражении.

Андрей был цельным человеком, как мне кажется, непротиворечивым внутренне, ему не свойственны были сомнения и метания, он считал их проявлениями слабости и даже (да простят меня многочисленные исповедники корректно-гендерных формулировок,

которые Андрей категорически не разделял) женскими чертами. Отсюда – его жесткость, временами бескомпромиссность и потрясающее упрямство. Оно помогало, укрепляло, придавало сил, держало на плаву, поддерживало ослабевающий инстинкт самосохранения. Но оно же мешало, осложняло отношения с людьми, мешало отклонить уже принятое скорое решение, подпитывало чувство долга, которое зачастую просто не давало возможности сделать паузу в череде бесчисленных срочных рецензий, откликов, памятных статей и тех всем известных околонучных жанров, не связанных с основной темой научных изысканий („студий“ - как любил он это называть в своих работах).

Андрею присущи были верность и преданность – идеям, убеждениям, людям. И надежность его была редкой природы: он был таким не только по отношению к своей матушке (только так он называл свою маму) и друзьям, коллегам и ученикам. Он был таким со всеми, во всех ситуациях. Был убежден, что мужчина должен „брать на себя“ самое тяжкое бремя и независимо от меняющихся обстоятельств обязан держать слово. Всегда – что бы ни случилось – он не забывал и не отказывался выполнить обещания, даже если все кардинально перестраивалось и сделать это было почти невозможно. Представить, что он мог переложить на кого-то другого ответственность, сложную или срочную работу, неприятный разговор или трудное решение – невозможно. Андрей был „правильным“ человеком – он любил правила и поступал по правилам, которых неукоснительно придерживался. Принципиальность его в научных вопросах известна многим. Но он не был скучно-„правильным“ занудой. Этого не позволял ему его горячий темперамент. Добрый и отходчивый по складу характера, он не мог долго держать обиду в душе. Хотя никогда и ничего не забывал.

Андрей обладал редким даром сочувствия и сопереживания, умел слушать и вникать в чужие горести и беды. Слушателем он был кротким и внимательным. Всегда готов был помочь советом, „разбором ситуации“ и делом, конечно. Многим, очень многим он помогал, не ожидая просьб. Его ласковое обращение „голубчик“ было адресовано многим из нас – независимо от возраста и пола.

Андрей был эмоциональным человеком, бурно реагировавшим на многое, в том числе – на ложь и несправедливость, неслучайно ему были особенно близки душевно идеалисты второй половины XIX века. Он не раз говорил, что он человек прошлого. Консерватизм в

привычках, в быту, нежелание принимать ничего нового, даже упрощающего жизнь, вызывали иногда иронические замечания и даже выводили из себя – когда речь заходила о новой технике или о поиске нужной книги в Интернете. Он и с компьютером мирился, наверное, только потому, что тот исправно выполнял функции печатной машинки. Но некая принципиальная „устарелость“ позволяла ему как-то по-своему, нестандартно понимать и анализировать поступки и идеи своих героев: Николы Пашича, Николая Раевского („Вронского“), Павла Ровинского и многих других, о которых мог рассказывать часами и так легко, увлекательно, встраивая повествование в детектив или интригу, что даже люди, далекие от науки, слушали с интересом. В Андрее-рассказчике на публике просыпался актер, и он становился неподражаем, заразителен и весел.

Все мы выбираем темы и героев прошлого, близкие нам по духу, по душевному складу. Андрей был похож на многих своих персонажей позапрошлого века: склонный к идеализму и самопожертвованию, в своих суждениях о людях он мог быть неожиданно резок, даже груб, и при этом романтизм у него сочетался с аналитическим складом ума. Но с учеными и деятелями эпохи народничества и позитивизма Андрея роднила прежде всего увлеченность любимым делом, горячее и эмоциональное стремление к новому знанию и новым ответам на старые вопросы. Совокупность личных качеств и особенностей эрудиции и ума сделали его оригинальным и сильным исследователем. Работоспособный, талантливый, преданный своему делу и требовавший этого от других, он при этом был чуток и деликатен с женщинами. Считал, что женщинам всегда труднее в жизни, чем мужчинам, и особенно в научном труде.

Андрей любил обсуждать то, о чем думал и писал, с друзьями (учеными и не только), с учениками, со временем ставшими коллегами и друзьями. С ним непросто было спорить. Даже когда он готов был признать свою неправоту вначале, позже непременно находил аргументы, обосновывавшие верность именно его суждения или позиции. Особенное пристрастие он испытывал к формулам – „чеканным“, как он их называл. Использовал их часто, во многих статьях. Я иногда иронизировала по этому поводу, в очередной раз обнаружив, что вычеркнутые мной „Буква выхолащивает Дух“, „Всё так“ и другие, все равно оказываются в окончательном тексте публикации. Вообще стиль Андрея очень узнаваем – эмоциональный, с многочисленными отточиями, страничными примечаниями, восклицатель-

ными знаками, этими самыми „чеканными формулами“ и любимыми словечками.

Все мы знаем, что Андрей в последние годы всерьез занимался теоретическими проблемами, связанными с модернизационными процессами на Балканах – в первую очередь, конечно, в Сербии. В связи с чем он обращался к изучению важных и для других европейских империй и государств вопросов конфликта социально-экономического уклада традиционного общества с новыми, европейскими политическими идеалами и конкретными формами управления и власти. Интересно (и об этом Андрей говорил, но, насколько мне известно, подробно не успел написать) – что в последнее время он думал об отказе от определения „европеизированный“ (то есть скроенный по европейским лекалам из домотканого балканского полотна), которое, как он полагал, не очень точно отражает универсальный характер данного процесса – ведь сложные пути „перехода“ на модернизационные рельсы и новые рыночные механизмы в связи с бурным промышленным ростом переживали разные регионы и социальные группы в странах Западной Европы. Европейская универсальность и общий прогресс второй половины XIX века – такой же миф, как и однозначная отсталость европейских „окраин“ (как северных, так и юго-восточных). Всерьез занялся он и исследованием политической культуры в историко-культурном значении. Статью об этом переделывал неоднократно, чтобы максимально ограничить возможные упреки, по его словам, в культурологическом подходе к анализу. Однако даже эти опасения не помешали Андрею весьма энергично осваивать работы не историков – социологов, историков культуры, этнологов. Следует признать, что для него и дисциплина „культурология“, и само слово часто выступало эвфемизмом некачественных исследований, „болтологии“. Впрочем, российская культурология, расцветшая в 2000-е гг. при довольно определенном состоянии гуманитарной науки, к сожалению, во многом заслужила такую репутацию. Однако при этом Андрей довольно серьезно штудировал историко-культурные и теоретико-методологические сочинения „высокого полета“, пытаясь найти в них объяснения тем феноменам сербской истории и этнокультурной имагологии, к которым не мог не обращаться, реконструируя „человека балканского“, „человека вечной войны“.

Давно, на поминках одной нашей институтской коллеги – большого ученого, другая коллега, также замечательный исследо-

ватель, член-корреспондент РАН, произнесла слова, которые меня поразили. Прочитать не могу, но смысл был таков: „Я всегда считала, что в нашей научной среде важнее то, каким человек был ученым, а не то, хорошим или нет он был человеком. А сейчас пришла к выводу, что человеческие качества важнее научных талантов, заслуг и вклада...“ Удивили эти слова потому, что для меня, наоборот, всегда было очевидно и бесспорно, что уходит Человек – уникальный, особенный, единственный такой. И именно его личные качества, добро или зло, которое он нес, радость или скорбь, которыми он наделал других, тепло, которым делился, много важнее того, что оставил после себя ученый. Хотя я склонна думать, что одно неизбежно связано с другим и так или иначе накладывает отпечаток – во всяком случае, на качество научного анализа, на отношение к делу, на выбор темы и ракурса исследования. Индивидуальность отражается во всем, что человек делает. В общем, это, конечно, банальности, о которых говорили и писали всегда, во все века. О Сербии и сербах напишут еще немало, и, быть может, даже ярче и точнее. А вот душевно щедрого Человека, настоящего Друга, заботливого Учителя, любящего Сына, каким был Андрей – нет.

Мы не прочитаем „Балканский детектив“. И никто не окликнет ласково: „Голубчик!“